

НЕДЕЛЯ

В издательстве «Советский писатель» выходит книга стихов и прозы Андрея Вознесенского «Ров». Кроме новых произведений, в книгу вошли и те, что были написаны в прежние годы, но сегодня, в эпоху перестройки всех сфер жизни общества, звучат особенно актуально. На страницах книги читатель встретит Индиру Ганди и Н. С. Хрущева, Владимира Высоцкого и Бориса Слуцкого, Бориса Пастернака и нынешних «прорабов духа» — хирурга С. Федорова, директора Пушкинского музея И. Антонову, архитектора К. Мельникова...

ВОДИТЕЛЬ

Я выпрыгну в грузовик, идущий к побережью. Шофер длинноволос, совсем еще дитя. На лобовом стекле — изображение Цезаря, Садясь, я произнес: «Приветствую тебя».

Что знаешь ты, пацан, о Сталине по сути? Что значит талисман? Что молодость слепа? Темнело. По пути мы брали голосующих. И каждый говорил: «Приветствую тебя».

«Приветствую тебя» — леса голосовали. И сотни мертвых рук хватились за борта. И памятники к нам тянулись с пьедестала. «Убитые тобой приветствуют тебя».

А Сталин пролетал, глаза от ветра сузив, Что ты творишь, пацан, срывая скоростя? Их всех не уместить в твой пятитонный кузов. Убитые тобой преследуют тебя.

Отец твой из земли привстал благоговейно. Сидело за рулем убитое дитя. И хор перерастал в иные поколения: «Убитые собой приветствуют тебя».



Андрей
Вознесенский

1975

«НЕ НАДО ОКОЛИЧНОСТЕЙ...»

«Шли и пели «Вечную память». Когда останавливались, то казалось, что продолжают петь как по-залаженному, — ноги, лошади. дуновение ветра...»

Скоро три десятилетия, как в годовщину его смерти к могиле идут людские вереницы, бесконечно продолжая эту зачинную фразу «Доктора Живаго».

«Прохожие пропускали шествие. Считали венки...»

Нынче впервые к сосне прислонился венок с красной лентой под заплаканной позолотой: «Б. Л. Пастернаку от Союза писателей». Этот венок — современник фильма «Покаяние». Двадцать семь лет минуло со дня гибели поэта, это возраст Лермонтова, которому он посвятил книгу. Это был венок не от того Союза писателей, который травил поэта и исключал, а от того Союза писателей, одним из романтических учредителей которого был Пастернак. На I Всероссийском съезде писателей поэт говорил: «Не жертвуйте лицом ради положения... Слишком велика опасность стать литературным сановником».

Ливень барабанил по зонтам. Сотни съехавших мокли, вжимались между колымаги могильных оград. Кто-то держал зонт над выступающими. Я зажег свечу у подножия памятника. Более часа читались стихи, и, несмотря на дождь и ветер, горела, мигая, в зеленом подсвечнике крохотная героическая свеча.

Глядя сквозь прорезь листы, сквозь туман рокового поля, вижу дачу, которая все не становится его музеем, вижу сквозь двадцатисемилетнюю дистанцию толпу его опальных похорон. Поблескивали камеры. Именитые писатели сквозь щели заборов и шторы, прячась, глядели на народную толпу. Была эпоха антигласности. Он был ее жертвой, когда те же люди, что восторженно шептали дома его стихи, кляли его с трибун.

Как случилось, что многие мастера слова, в том числе и достойные, в те давние годы, словно в наваждении, включились в несправедливую кампанию против поэта и несли небывалые? Слово под тягостным гипнозом обвиняли соседа своего в несуществующих преступлениях? Механизм этого явления важно понять, уроки истории не проходят даром, истина ждет своего торжества — биографии и судьбы важно воссоздать в их подлинном значении для потомства.

Кто-то казнил за потом всю жизнь. Кто-то сломался. Кто-то спрыгнул с ума. После первого заседания Комиссии по наследию Пастернака, когда мы приняли решение отменить позорное исключение великого поэта из СП, подошел ко мне В. Солоухин: «Что ж ты меня не позвал выступить? Душа просит покаяния».

И многое еще что виделось сквозь этот двадцатисемилетний туман. Виделось счастье духовной высоты общения с ним и чудовищный шок от исключения его из СП и последующей травмы — все это повлияло на меня как на человека и поэта.

Об этом после. В 16 часов начинаются первые Пастернаковские чтения в зале Литинститута. На 30 июня был назначен

мой поэтический вечер на фестивале в Роттердаме. Я, конечно, не полетел. Думаю, европейские поэты поймут. Важнее было провести Пастернаковские чтения. 60 докладов прозвучало — среди них речи С. Аверинцева, В. Каверина, Д. Самойлова, Л. К. Чуковской с белой стрижкой и прямой спиной, Е. Евтушенко, М. Чудаковой. С лестницы подали записку: «Мы приехали из больницы, но не можем пробыть. С. Липкин, И. Лиснянская». Напрасно я кричал: «Пустите их, расступитесь!» Куда там! Зал был спрессован. Стояли на окнах. Кому-то было плохо... «Дух поэта сегодня может быть спокоен», — сказала кипрская поэтесса.

Жаль, что после тяжелого приступа не смогла быть Ольга Всеволодовна Ивинская, муза поэта, чей белокурый свет волнует нас в Гретен, Ларе и последней тетрадке его стихов.

Учреждение ежегодных международных Пастернаковских чтений — один из четырнадцати пунктов, принятых Комиссией по литературному наследию Б. Л. Пастернака.

Первое ее заседание состоялось 12 февраля 1987 года в ампирином конференц-зале, где 30 лет назад был исключен из Союза писателей великий художник... Первым пунктом решения было: призвать Секретариат СП СССР отменить постановление 1958 г. об исключении поэта...

Думаю, что история с романом «Доктор Живаго», послужившая поводом для исключения, являет собой пример эпохи забвения гласности, когда люди должны были клеймить произведения, даже не прочитав его. Нам трудно поверить, что большинство опубликованных откликов сводилось к мнению: «Я роман Пастернака не читал, но считаю...»

Юношей я прослушал все части «Доктора Живаго» из уст автора. Страницы пронаез точнейшая музыка чувства. В одном из писем 1949 года Пастернак писал: «Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку, Юрию Живаго».

Под сюртуком Николая Николаевича из романа скрываются концепции Скрибина и Блока. Все, что принадлежит перу Пастернака, должно быть опубликовано. Особенно дорога его переписка. Она составляет тома. Его письма к О. Фрейденберг драгоценны. В письмах поэт предстает мыслителем на уровне ведущих русских фило-

софов. Именно ныне нам необходимо общечеловеческое осмысление мира, духовность не на уровне отрывного календаря. В нашей борьбе за духовное обновление, поиске корневой застоя не забудем слов поэта: «Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Стало расти владычество фразы».

...Еще в феврале 1936 г., выступая на Пленуме в Минске, Пастернак говорил: «Скажем правду, товарищи: во многом мы виноваты сами. Ведь не все на свете создается дедуктивно, откуда-то сверху... Мы все время накладываем на себя какие-то добавочные путы, никем не затребованные...» Хрущев, конечно, не читал «Доктора Живаго». Его наускивали интриганы, среди которых печальную роль сыграли и поэты-завистники. У каждого большого поэта есть свой пожизненный гнусный спутник. Сладострастие зависти дает ему смысл жизни.

Обо всем этом шла речь на заседании Комиссии. Я нарочно протокольно скупко описываю это, чтобы дать понять нерв сегодняшней результативной гласности.

19 февраля 1987 года Секретариат СП СССР отменил постановление об исключении Пастернака из СП СССР. Это шаг беспрецедентный.

В решении Комиссии по литературному наследию Б. Л. Пастернака четырнадцать пунктов. Первый принят Секретариатом Правления СП СССР. Среди других отмечу: обратиться в Секретариат Правления СП СССР с просьбой об издании «Доктора Живаго», о выпуске полного собрания сочинений, создании дома-музея поэта в Переделкине; проведение Пастернаковских чтений с участием деятелей как отечественной, так и мировой культуры (первые чтения провести 30 мая 1987 года), организация выставки «Мир Пастернака», подготовка к юбилею в 1990 году с предложением в ЮНЕСКО объявить год столетия поэта годом Пастернака, факсимильное издание книги «Сестра моя — жизнь», мемориальное увековечение — присвоение имени Пастернака улице, скверу... Дел много. И решение Секретариата об отмене постановления 1958 года — пример того, что ныне «невозможное возможно». Говоря о Пастернаке, выступавшие требовали отменить постановление об А. Ахматовой и М. Зощенко.

Пусть трагическая судьба великого поэта удержит от повторения подобного в будущем.

* * *

Не надо околичностей,
не надо чужь молоть.
Мы — дети культа личности,
мы кровь его и плоть.
Мы выросли в тумане,
двусмысленном весьма,
среди гигантоманий
и скудости ума.
Отцам за Исык-Кули,
за домны, за пески
не орденами — пулями
сверлили пиджаки.
И серые медали
довесочков свинца,
как пломбы, повисали
на души, на сердца.
Мы не подозревали,
какая шла игра.
Деревни вымирали.
Чернели вечера.
И огненной подковой
горели на заре
венки колючих проволок
над лбами лагерей.
Мы люди, по распутью
ведомые гуськом,
продутые, как прутья,
сентябрьским сквозняком.
Мы — сброшенные листья,
мы музыка оков.
Мы мужества амнистий
и сорванных замков.
Распахнутые двери,
смятенные посты.
И ярость новой ереси,
и яркость правоты.

1956.

* * *

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.
Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!
Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
занеет — спасу нет!
Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.
Спускаюсь в чей-то быт,
смущаясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.
Интеллигенция!
Как ты изолгалась,
читаешь Герцена,
для порки заголясь.
...В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдной,
что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальной страны —
застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...
Обязанность стиха —
быть органом стыда.

1967.

МАНЕЖ

Не надо видеть, мысля десантно,
в восьмидесятых — шестидесятые.

Манеж был Фалька гробовщиком,
теперь в Манеже — Гребенщиков.

Бабушки третьего тысячелетия,
пока вы дети,
подняв двуперстие, тряситесь, предки,
как будто в небе ища розетки,

где ток небесный струится в ваттах —
восьмидесятых, шестидесятых...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В АГРОПРОМ

Сонет

Теза:

У доярка спад надоя.
Виновата аэробика.
Наш экран забыл устои.
Не Париж мы и не тропики.

Антитеза:

Но французские доярки
Смотрят это и другое.
И у них довольно яркие
Показатели надоя.

Посылка:

Аэробика утвоя,
Мы подыдем рост надоя.

ОТ ЮНОШЕСКИХ занятий музыкой, от обожания Скрибина, от фортепьянной техники родилась пастернаковская техника стиха. Каждая строка, каждое слово работает, как нота, как клавиша, у него нет неработающих пустых строк — каждая напряжена.

У капель тяжесть запонков.

Вы слышите, как пальцем ударяется каждая клавиша? И одновременно звенит зрительный образ, серебряное сверканье капель. Устраивая в Пушкинском музее выставку к столетию поэта — «Век Пастернака» (наподобие выставки «Мир Элюара» в Центре Помпиду), мы думаем выставить бытовые предметы, воспетые поэтом, — он был бог деталей.

За этой звуковой музыкой просвечивает другая, духовная, трансцендентальная, которую поэт чувствовал сквозь стихию христианства.

Застекленная терраса кабинета, где шли чтения романа, располагалась на втором этаже и имела овальные стены, как кабина авиалайнера. Стены были наполовину из дерева, наполовину из неба. Так и роман его — полупроза, полустихи. (Он повторял строение дачи — деревянный остов и терраса стихов).

...Поззия — содержание романа. Помню, он удивленно шутил, слыша политические обвинения: «А что, «Анна Каренина» или «Воскресение» — антисоветский роман?»

Откроем наугад страницу этой прозы. За каждой строкой — стихи. Вот Лара с матерью идет с узлами по московскому бульвару 1905 года. Стреляют.

«...Они вышли на улицу и не узнавали воздуха, как после долгой болезни...»

Сразу аukaется:

А воздух синь, как узелок с бельем
У выписанного из больницы...
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц!

«...Морозное, как под орех разделанное пространство легко перекатывалось во все стороны, круглые, как на токарне выточенные, гладкие звуки. Чмокали, шмякали и шлепались залпы и выстрелы...»

Даже не буду цитировать строки о гულком орехе, вы их помните, читатель, только скажу, как гром —

Как допетровское ядро

Он лугом пустился вприпрыжку...

«На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль. Их обыскивали, нагло оглаживая с ног до головы, ухмыляющиеся солдаты».

Весь этот жанровый эпизод со свежестью и крепостью образов уже звенел в поэме «905-й год».

Понесло дураков.

Это надо же выдумать — в баню!

Эти картины московских улиц, зимнего казачьего разгона демонстрации — самые сильные и в фильме «Доктор Живаго». После этого фильма вошли в мировую моду дублины, которые сначала называли «стиль Живаго». Ныне Никита Михалков хочет заново отснять фильм по роману.

А язык? Как и стихи, это непереводимо. Где, в каком Марбурге, у какого Канта и Когана мог он понабраться такого

лексикона? Это не выписанные из Даля архаизмы, а настоящая народная речь с натуры, как у Островского.

«Где-то закричала старуха:

— Куда, кавалер? А денги? Когда ты мне дал их, бессовестный? Ах ты, кишка ненасытная, ему кричат, а он идет, не оглядывается. Стой, говорю, стой, господин товарищ! Караул! Разбой! Ограбили! Вон он, вон он, держи его!

— Это какой же?
— Вон голомордый идет, смеется.
— Это который драный локоть?
— Ну да, ну да. Держи его, басурман!
— Это который на рукаве заплатка?
— Ну да, ну да. Ай, батюшки, ограбили!

— Что тут поприпитчилось?
— Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и фьют. Вот плачет, убивается.

— Нельзя этого так оставить. Поймать надо.
— Поди поймай. Весь в рсмях и патронах. Он тебе поймает».

И за всем этим просвечивает иное. В философствующем родственнике, приехавшем из-за границы, просвечивает Андрей Белый, за Христиной Орловцевой — Зоя Космодемьянская. Но главное — просвечивает музыка иная — музыка совести.

Тут надо бы цитировать весь роман Мир испытывает дефицит совести ныне. Это общечеловеческая проблема. Даже в лучших сынах человечества. Энрико Ферми сказал после испытания первой атомной бомбы в Аламгордо: «Не надоедайте мне с вашими терзаниями совести! В конце концов — это превосходная физика».

За мастерскими бытовыми сценами, любовной линией романа, образностью, superbой интеллигенции, философскими диспутами, лагерными кадрами, гибелью героев просвечивает эта музыка совести и пророческое предощущение, освещившее последнюю страницу романа, самого заветного для него произведения: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание».

Может быть, эти строки обращены к сегодняшним процессам? Во всяком случае выход этой книги Пастернака — одно из конкретных тому подтверждений.

«...В какой-то стороне нашего литературного застоя повинны мы сами, как члены корпорации, как атомы общественной ткани... — писал наш гений, — легче и разумнее строить, начиная с себя».

Открывая чтения, я прочитал стихи, написанные после его похорон. В тягостной атмосфере антипастернаковских гонений похоронного лета мне все же удалось напечатать в газете «Литература и жизнь» стихи под названием «Кроны и корни» с подзаголовком «Памяти Толстого». Натяжка была невелика — путь и дух Толстого были ему близки.

Несли не хоронить —

несли короновать.

«Шли и пели «Вечную память». И когда останавливались...»